

и Аким Акимыч осклабился не без удовольствия... (...) Голова его была обрита удовлетворительно; но, оглядев себя внимательно в зеркальце, он заметил, что как будто не совсем гладко на голове; (...) и он немедленно сходил к “майору” (прозвище одного из каторжан. – В.Н.), чтоб обриться совершенно прилично и по форме” [1, т. 4, с. 106].

“Не был он, – продолжает характеристику этого героя Достоевский, – и особенно религиозен, потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все остальные его человеческие дары... (...) Значение факта (...) никогда не касалось его головы, но раз указанные ему правила он исполнял с священной аккуратностью” [1, т. 4, с. 105]. “Благонравие и порядок он постирал (...) до самого мелкого педантизма” [1, т. 4, с. 50].

В числе каторжан встречались субъекты, готовые “уничтожать свою личность всегда, везде и чуть ли не перед всеми” [1, т. 4, с. 59]. Но Аким Акимыч составлял исключение и среди них. Всем своим нравственно-физическим обликом и поведением он являл не личностно неразвитого или приниженного человека, а прямую противоположность личности – некую нормативно-идеальную *безличность*. И только ему поэтому было “все равно жить, что на воле, что в каторге”: “Он даже и устроился в остроге так, что будто всю жизнь собирался прожить в нем... (...) Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же” [1, т. 4, с. 208].

“Слепо преданный” форме и обряду [1, т. 4, с. 105], т.е. единообразию, Аким Акимыч – из внутренней потребности – насаждает его в острой казарме. Его раздражает самая разноликость каторжного люда (“Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок (...), пятый жид, шестой цыган...”) [1, т. 4, с. 28]), по этой причине именуемого им *сбродом*. Без всякой корысти для себя он преследовал любые отклонения арестантов от предписанного им устава: “ругался с ними, даже дрался” [1, т. 4, с. 26]. Короче говоря, обращался с людьми фактически так же, как и омский плац-майор, который, в свой черед, “отличался совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества” и портрет которого завершается в “Записках...” словами: “Такому человеку (...) надо было везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, кого-нибудь лишит права – одним словом, где-нибудь произвести распорядок” [1, т. 4, с. 116–117].

Сущностное родство выведенных Достоевским формализаторов жизни – тюремщика и его двойника из заключенных – подкрепляется и сходством значимых деталей. И плац-майор, и Аким Акимыч бессемейны, не имеют друзей.

Презирающий личность острожный надзиратель намеренно лишен писателем имени; что касается Акима Акимыча (ср. с лермонтовским Максимом Максимычем и гоголевским Акакием Акакиевичем), то в его имени акцентирована не оригинальность, а тавтологический повтор. И некогда кавказский прапорщик, и плац-майор – военные не столько по профессии, сколько психологически, т.е. люди, для которых мундир и чин решительно исчерпывают человека. “В мундире, – замечено о плац-майоре, – он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея” [1, т. 4, с. 218]. В некий умозрительно скроенный мундир-униформу они оба хотели бы втиснуть и живую жизнь.

Сказанное позволяет дать плац-майору “Записок...” итоговое определение. Нет сомнения, что в образе этого человека Достоевский изобразил не просто озлобленного насильника, а систематика-*утописта*. При этом утописта-практика, следовательно, согласно логике произведения, опасного вдвойне.

«Страшный это был человек, – говорится о плац-майоре в “Записках...” – именно потому, что такой человек был *начальником*, почти *неограниченным*, над двумястами душ» [1, т. 4, с. 28] (Курсив наш. – В.Н.). С фактической точки зрения подчеркнутое нами утверждение Достоевского неточно. В действительности плац-майор подчинялся коменданту Омского острога – “человеку благородному и рассудительному” [1, т. 4, с. 14]. Работами арестантов руководили инженерные чины, один из которых – подполковник Г-ков – “поссорился насмерть (...) с ненавистным майором” и, напротив, своей “...доверенностью к арестанту, отсутствием мелкой щепетильности и раздражительности, совершенным отсутствием (...) оскорбительных форм в начальнических отношениях” заслужил глубокое уважение и любовь каторжан (“Отец, отец! отца не надо!” говорили поминутно арестанты во все время его управления инженерной частью”) [1, т. 4, с. 215]. В созданной в “Записках...” картине Омской тюрьмы эти лица, однако, либо бегло упомянуты, либо служат ее фоном. И это было не упущением, а следствием художественного замысла писателя.

Безраздельной властью над каторжным острогом плац-майора сознательно наделил сам Достоевский – с тем, чтобы, позволив майору реализовать его формализаторскую систему (“порядок”), воочию показать читателю, в какое именно социальное устройство она неминуемо отольется.

В контексте этой задачи смысл важного содержательного намека обретает в “Записках...” само звание безымянного начальника Омского остро-